

ЛЕСКОВ
1831

1895

Майя
КУЧЕРСКАЯ

ЛЕСКОВ

*Прозёванный
гении*

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2021



ПРЕДИСЛОВИЕ

Лесков был человеком разорванным. Его постоянно «вело и корчило», растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом**¹, праведниками и злодеями.

Формула его художественного мира включала два полюса одновременно — плюс и минус². Присоединяться к одному из них ему было скучно, незачем; другое дело — держать в поле зрения оба, глядеть, как растет напряжение, вспыхивает молния, блещет текущий огонь.

Статья о петербургских пожарах, неудачная по интонации и не слишком глубокая по мысли, подорвала его репутацию, едва он начал путь в литературе. Написанный вскоре после этого роман «Некуда» о роковом заблуждении одних, нечистой игре других и глупости третьих, который приняли за пасквиль и донос, испортил ее окончательно. «Господин Стебницкий» — псевдоним, под которым он опубликовал «Некуда», — стал писателем нерукопожатным на долгие годы вперед: прежде чем широкая читательская публика снова повернулась к нему, должна была смениться не одна эпоха.

Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но всё в ней вечно скатывалось в водевиль, сползло в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, — изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное

* Аггел — падший ангел, служитель дьявола.

слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга.

Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться, а набредал всё на одно: золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка.

Лучше многих про него сказал Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу»³, — пронизывая самое важное в Лескове-художнике: обостренное эстетическое чувство, тяга к прихотливому словесному узору, задорной языковой игре сочетались в нем с поповским началом, любовью к церковной культуре и жизни, пронизанной вместе с тем духом отторжения государственного православия (потому и «расстрига»). Официально Лесков не принадлежал к духовному сословию — священствовали его прадед и дед, отец после семинарии пошел в чиновники, — но в облике его и круге интересов всё-таки жили неистребимые поповские черты. Не один Чехов это в нем разглядел*.

Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства: действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность — для него всё это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете — тогда он их придумывал.

«Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков⁴. Лесков — христианский идеалист. Он никогда не был таким изощренным психологом, как Достоевский

* Известный еврейский историк, публицист и общественный деятель С. М. Дубнов (1860—1941) вспоминал посещение петербургской квартиры Лескова на Сергиевской улице (с 1923 года — улица Чайковского) в начале 1880-х годов: «На стенах висело много картин, преимущественно произведения иконописи. Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлацкими глазами и несколько циничными манерами. При всём своем вольнодумстве, Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах» (*Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени.* СПб., 1998. С. 100).

или Толстой; наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений: старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княгиня Протозанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников. Часто он находил их в прошлом, в старой сказке.

Параллельно его остро волновала современность, злободневные вопросы и темы, но всерьез любил он, кажется, кроме праведников, только людей старинных, которых называл «антики», их и весь русский патриархальный мир, на глазах опускавшийся в Лету, и описывал его с неизменной улыбкой — печальной, теплой. Целовал в макушку, не боясь показаться смешным. Это не мешало ему оставаться поклонником европейского просвещения, общественного прогресса, безграмотность и рабство вызывали в нем отвращение и ярость. По широте взглядов, например, на еврейский вопрос Лесков намного опередил свое время. Он проповедовал внимание и терпимость к чужой культуре и ценностям в те времена, когда принцип толерантности еще не был сформулирован в пространстве светской мысли, хотя слова «...ни элина, ни иудея...» давно были произнесены.

Он мечтал жить среди ангелов, в мире, где нет ни схваток, ни подлости, ни страстей, еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. Его самого жгли черная зависть, злоба, жадность к деньгам. «Ты о Христе пишешь, а сам чёрт чёртом, только рогов недостает», — сказала ему однажды его приемыш Варя, которой он дал две пощечины за то, что посмела завить себе волосы⁵. «Лесков говорит о милосердии, а в глазах у него черти бегают»⁶, — записала в своем дневнике литератор и актриса Софья Ивановна Смирнова-Сазонова.

Гнев, раздражительность, деспотизм топило в себе другое неистовство.

«О необузданном, садистическом темпераменте Лескова на сексуальной почве ходили среди писателей чудовищные слухи... — вспоминал другой его современник. — За кофе с ликером Николай Семенович мечтательно заметил: “Какой-то кесарь засыпал своих гостей розами, так что они под ними задохнулись. Я также, вероятно, задохнусь. Но не от роз... А хотел бы я, чтобы на меня сыпались женские сердца... сотнями, тысячами... красные, горячие... Я валялся бы среди них, целовал бы их взасос, разрывал бы их

пальцами, грыз бы зубами, и задохнулся бы от сладострастия!»⁷.

Литератор Павел Пильский сохранил удивительное свидетельство критика Александра Измайлова. Тот увидел в кабинете на столе у Лескова «прекрасный крест на слоновой кости, чудесной работы, вывезенный из Иерусалима». Однажды, «в минуту откровенности», Лесков обратил внимание Измайлова на вставленное в перекрестье кругленькое стеклышко. Приблизив крест к подслеповатым глазам, Измайлов оторопел: под стеклышком была неприличная картинка⁸.

«Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними старинного письма образ или картина на дереве — голова Христа на кресте в несколько сухом стиле Альбрехта Дюрера»⁹ — так описывала его кабинет писательница Любовь Яковлевна Гуревич.

Тот же Измайлов, однажды зайдя к Лескову невзначай, увидел, что он стоит на коленях, отбивая земные поклоны.

«Измайлов осторожно кашлянул, Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно, быстро заговорил, как бы оправдываясь:

— Оторвалась пуговица, знаете... вот, всё ищу, ищу... никак не могу найти...

И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал.

Все, знавшие этого человека, в один голос упоминают о его прожигающих глазах, светившихся распаленной огненностью»¹⁰.

Лесков для сегодняшнего российского читателя — автор «Левши», для зарубежного — «Леди Макбет Мценского уезда», которую знают по опере Шостаковича. Но на самом деле его рассказ-визитка — «Чертогон»: дядюшка рассказчика ныряет в бешеный ночной разгул, с пьяным пиром, музыкой, цыганами, а нагулявшись всласть, так же пламенно замаливает ночные грехи в женском монастыре перед богородичной иконой. В другом рассказе, «Дворянском бунте...», отец Василий, алкоголик с добрым сердцем, после запоя, на покаянной молитве «просветлевал до прелести», «невыразимой и неописанной», так что при красноте лица своего напоминал «огненного серафима»¹¹.

Многое из того, что делает человека человеком, — образование, профессия, дружба, супружество, отцовство — у Лескова или было «разбито на одно колено», как говорил он о своем первом браке, или вовсе отсутствовало. Систем-

ного образования он не получил — имел за спиной три гимназических класса. Профессиональным писателем стал не сразу и не до конца, всегда искал других, более надежных занятий. С официальной женой не ужился, с «гражданской» — тоже. Дочерью Верой почти не занимался; сына Андрея, будущего своего биографа, больше мучил, чем воспитывал. О «сиротку» Варю, которую приютил уже стариком, скорее грелся — буквально: борясь с одиночеством, клал ее, маленькую, с собой в постель; страшно подумать, как это интерпретировали бы сегодня. Приятели в его жизни случались, как и внезапные сближения, но дружба, требующая доверия, искренности, постоянства, — никогда.

Возможно, именно эта неприкаянность, неспособность пристать ни к одной из испытанных традицией пристаней определили интерес к нему в колеблющемся XX веке. Дожив почти до конца XIX столетия, он действительно стал фигурой переходной. Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое, его журчание, клекот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, кряканье, звон. И отправился в свободное плавание — в живой язык, русский письменный, русский устный. Страсть к редким, диковинным словечкам, которые Лесков собирал по крупицам в записные книжки, чтобы потом гурмански раскатать по нёбу, спустить в горло мелкими глотками, была не слабее, чем все другие.

Его тяга к эстетическому наслаждению была тягой к запретному, потому что сталкивалась с иной линией, мейнстримом российской словесности второй половины XIX века, который и сам он открыто поддерживал: литература должна воспитывать. «Я совершенно не понимаю принципа “искусства для искусства”»; нет, искусство должно приносить пользу — только тогда оно и имеет определенный смысл¹², — говорил он уже стариком, повторяя то же, что заявлял в молодости*. Должно-то должно, но чем дальше, тем сильнее он любил красоту слова как такового, от

* В 1861 году в статье «О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных писателей», опубликованной в «Русской речи», Лесков писал: «Пользоваться неразвитием общественных вкусов и понятий и стараться морить общество со смеху, когда нужно говорить о деле, — недостойно литературы, от которой в настоящее время русская жизнь вправе требовать серьезного служения ее интересам» (Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. М., 1996. С. 379).

проповеди отделенного. Поэтому и отношения с читателем Лесков выстраивал иные, более отстраненные и прохладные, чем Толстой, Достоевский, Тургенев и Гончаров, зато с языком — интимные, влюбленные. Читатель ему этого не простил. Но то, что помешало любить Лескова читателям XIX века, определило интерес к нему в первые десятилетия века следующего.

О нем думали и писали Василий Розанов, взглядывавшийся в суть лесковского консерватизма, Максим Горький, любивший его за демократизм, оригинальность таланта и называвший «волшебником языка». Языковая вязь и стилистические игры Лескова привлекали и Дмитрия Мережковского, и Алексея Ремизова, и Евгения Замятина, и Бориса Пильняка. «Достоевскому равный, он — прозёванный гений. / Очарованный странник катакомб языка!» — писал Игорь Северянин в стихотворении «На закате (1928).

Но хотя странствия по катакомбам языка сближали Лескова с литературным модерном, как сказал Северянин в том же стихотворении, «никаким модернистом ты Лескова не свалишь» — он был шире.

Всё русское — уклад, душу, веру — он понимал не умом, не сердцем — печенью. И видя мрачные бездны и героизм русского характера, его благочестие и дикость, авантюризм и апатию, желание оседлать, а еще лучше обхитрить судьбу, но вместе с тем и покорность ей, любил его именно таким. Это трезвое русофильство, не исключавшее глубокого почтения к европейской цивилизации, — еще один ключ к миру Лескова.

Напоследок о том, как написана эта книга.

Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом. В равной степени я люблю искать реалии, литературные и жизненные, которые легли в основу того или иного художественного произведения, выяснять, как эпиграф соотношен с замыслом текста и кто тот забытый автор, чье сочинение послужило основой... словом, заниматься филологией, комментированием и историей литературы. Люблю тишь библиотек, гору ветхих журналов на столе с

внезапным инскриптом, приютившимся между лиловой библиотечной печатью и экслибрисом; особенный запах старых книг, рассыпающуюся брошюру, принесенную в картонной коробочке, обвитой волосатым шнурком, которую так интересно разглядывать и нюхать под железной зеленой лампой.

Работая над книгой, которую читатель держит в руках, я решила не снимать очевидного противоречия, не переключать в себе филолога на писателя и наоборот.

В конце концов мой герой тоже соединял в себе и писателя, и публициста, и исследователя; сложись его судьба иначе, он мог бы стать серьезным ученым. Поэтому в этой книге немало ссылок, в том числе на архивные документы (многие обнаружены и упомянуты впервые), и литературоведческих соображений. Отсутствие ссылок — сигнал читателю: перед ним реконструкция, основанная на мемуарах, документах, текстах Лескова. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрем 1859 года, когда автору было без малого 29 лет; до этого — ни слова, ни звука! Остается восстанавливать, как всё было в эпоху его безмолвия, по его поздним скупым свидетельствам и сторонним документам, вооружась здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков, наконец, заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений прибывает. Слова писателя суть дела его.

Надеюсь, что переключение из одного регистра в другой не потребует серьезных усилий. Впрочем, на читателя, вовсе не готового к ним, я и не рассчитываю.

Самое время поблагодарить всех тех, без чьей читательской и профессиональной помощи я ни за что бы не справилась: Е. Н. Ашихмину, М. В. Вишневецкую, Е. С. Коробкову, А. В. Машукову, О. Е. Майорову, М. С. Макеева, В. А. Мильчину, М. С. Неклюдову, Т. Г. Слуцкую, Л. И. Соболева, М. Л. Степнову, С. И. Труфанову; А. В. Полозову (Центральный государственный исторический архив Украины, Киев), Т. А. Евневич (Государственный архив Пензенской области), стоически прочитавшую самый первый, а затем и последний вариант Е. С. Холмогорову, моих первых читателей и библиографов В. И. Буяновскую, М. Р. Хамитова, а также сотрудников Российского государственного архива литературы и искусства, Рукописного отдела

Пушкинского Дома, Рукописного отдела Литературного музея города Орла и Дома-музея Н. С. Лескова, и, конечно, моего мужа и постоянного советчика А. Л. Лифшица.

А теперь увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку. Вперед, за нашим героем!

Он немало времени провел в пути, многих своих персонажей сделал странниками, путниками дурных русских дорог. Несколько его сочинений — один из первых очерков «В тарантасе», роман «Некуда», повести «Смех и горе», «Очарованный странник», рассказ «Отборное зерно», очерк о Гоголе «Путимец» — открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету, все они — путимцы, которые ищут правду.

Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге: его литературная карьера началась с путевых писем, полных сценок, которые он подглядел, историй, которые подслушал.

В путь!

Глава первая
ДОРОЖНЫЕ СНЫ

Чудная вещь старая сказка!
Н. С. Лесков. Соборяне

Проводы

Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос — из-под широкого козырька видны только темные усы, круглый подбородок в прозрачной поросли, губы — пунцовые, пухлые.

Ветерок омывает лицо и шею, в скулу бьет вдруг тугая пуля — очнувшийся шмель или муха; юноша вздрагивает, сдвигает картуз, поводит сонными испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки в легком сиянии первой листвы и птичьей трескотне. За березками — распаханное поле. По острой зеленой травке всходов удивленно расхаживают черные грачи.

Даль ясна, как бывает лишь ранним утром в мае; дорожная лента видна на много верст. Пыль прибил мимолетный дождь на рассвете, колеса стучат глухо, бубенчик погромычивает в такт. Юноша клюет носом вместе с другими пассажирами пожилого тарантаса, едва вместились в эту «помесь стрекозы и кибитки», как изволил пошутить один полузабытый сочинитель — тень его еще мелькнет на страницах нашего повествования. Тот тарантас, впрочем, скрипел на русских ухабах много раньше, теперь же на дворе 1850 год*.

* Согласно большинству имеющихся сведений (см. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова / Сост. К. П. Богаевская // *Лесков Н. С. Собрание сочинений*: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 801), Лесков в первой половине 1850 года жил в Киеве. Однако недавние архивные находки свидетельствуют, что в апреле он, скорее всего, находился в Орле: подписанный им собственноручно «Рапорт Орловской Градской Полиции», который разумеется, составлялся в орловской палате Уголовного суда, датирован 11 апреля (см.: *Ашихмина Е. Н. Лесков в Орловской палате Уголовного суда: новые автографы писателя // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки»*. 2009. № 1. С. 184). Как бы то ни было, мы позволили себе посадить молодого Лескова в тарантас, направлявшийся в Киев в начале мая указанного года.

Кавказская война идет на убыль, имам Шамиль уже готов сдаться русским.

Лев Толстой твердо решает покончить с беспутной светской жизнью, делать гимнастику и вести дневник.

В столице начинаются гонения на философию: польза от нее не доказана, а вред возможен.

В петербургском Дворянском собрании проходит последний в сезоне бал, а в ночи маскарад, цена билета на маскарад — два рубля.

Достраивают Николаевскую железную дорогу.

Достоевский только что отметил свою первую в Омском остроге Пасху.

Тургенев нарисовал толстую собачку в письме Полине Виардо.

Днепр освободился от ледяных оков, англичане вновь с жаром принялись за строительство моста.

Газета «Северная пчела» сообщила о рождении козленка с ястребиной головой.

Юноша сладко спит. По устам его скользит улыбка, словно и во сне он помнит, что едет в далекое, взрослое путешествие, в чудный Киев, к дядюшке.

Остается лишь скользнуть беззвучно сквозь густой ресничный лес, заглянуть по ту сторону дрожащих век нашего героя, отметив по пути: сыровато, уж не пустит ли он вот-вот слезу?

Ба, да он на пиру! Сизый табачный дым стелется над столом с остатками закусок, лепится клоками к желтеньким обоям, заслоняет дешевую народную картинку. Кто там? Бова на коне, Еруслан на хвостатом драконе? Не разглядеть. Возле стены — батарея пустых бутылок, одна прилегла — сил стоять нет. Гости расшумелись, раскраснелись, поют.

Дым столбом — кипит, дымится пароход... Православный веселится наш народ!

Регентует чернокудрый Евген, стоит посреди комнаты, густым голосом ведет неумелый хор. Глистовидный Георгиевский в коричневом франтове, добытом по случаю на Ильинке, вьется рядом, машет руками, совсем не в лад. Рябоватый Лавров, Жданов с красной шишкой на скуле оседлали стулья и скачут. Гладко выбритый Вася Иванов, дядька Опанас в вышиванке поют тоже. *И быстрее, шибче воли мчится поезд в чистом поле!*

Ни один из них в настоящем поезде пока не ездил, поезда не видал. Только через 20 лет дотянется до Орла железная дорога. Но песня веселая, тема в масть.

Один хозяин не поет, стоит, опершись о дверной косяк, смотрит, будто издалека. Ему тянет душу: хоть и рассказы-вал всем, будто покидает Орел на месяц-другой — поглядеть на Киев, осмотреться, знал — не вернется ни за какие пряники, вцепится в скупое дядюшкино гостеприимство зубами, и... ни за что. Глохлый, прогорелый город, прощай. И не задорный мальчишник это, не проводы — похороны.

Никогда больше ему не пить с ними, не петь, не ворочать в канцелярии пыльные связки дел, не кунать перо в помадную банку с чернилами, не курить на дворе под анекдоты и молодецкий гогот.

...Только зачем же лошади скачут мимо, под густой крик ямщика, почему захлебывается колокольчик?

Юноша распахивает глаза. Воздух рвется от звона — взбивая пыль, мчит курьерская, с колокольчиком и бубенцами. Он смаргивает слезу, промакивает щеку ладонью. Звук тает. Как и не было сытой тройки с крытым экипажем. Впереди только избенки выступившей за поворотом деревни. Попутчики его тоже начинают потягиваться, просыпаться. Он глядит на них сквозь ресницы, ему не хочется ни знакомиться, ни говорить.

Прямо напротив широко зеваает плотный русобородый купец: взгляд цепкий, глаза в зелень, чистый крыжовник, а руки ленивые, полные, мягкие. Рядом мелко моргает тщедушный приказчик, он при купце, судя по стриженной челке и чинному виду, из староверов. Слева посапывает, откинувшись назад, кудрявый молодец, кровь с молоком. Возница придерживает лошадей — навстречу бредет стадо. Несет навозом и бедностью; коровы за зиму исхудали, идут, покачиваясь, норовят ущипнуть по дороге хоть листик жмушейся к забору ботвы. За ними плетется белобрысая девка, тоже будто после болезни: щеки бледные, под глазами синева, едва держит кнут, на ходу спит.

Голова раскалывается, во рту мертвая слепопоечная сушь. Юноша судорожно сглатывает, снова ныряет в забытие. Слышит сквозь дрему, как соседи знакомятся и сейчас же сближаются друг с другом, как умеют сближаться в дороге одни лишь русские люди.

Звучит раскатистый смех, льются-переливаются слова — вещество, воровство, погуливать...

— ...Где народ, там и воровство, — рокоchet сочный купеческий голос.

— Ну, нет-с. У немцев воровства не бывает. Мне артельщики из Петербурга сказывали, — сыплет звонкий тенор. — И у шведов нигде не встретишь.

— Брежут, — обрывает купец.

— Чего им брехать? *Брешет брох о четырех ног.*

Брох, черный молодой пес в ржавых подпалинах, привязан на базарной площади к телеге, дышит теплым паром; по вытопанному на площади снегу шагает гусь, глинистого окраса, любимец протодьякона. Навстречу ему — белый крепыш квартального. Слышится яростный гогот, рыжий пух вспархивает над бойцами, но внезапно меркнет ясный снежный свет...

Он опять в тарантасе, кудрявый сосед тормозит его и странно булькает горлом.

— Гы-гы-гы. Вот так спит, хоть в гроб клади...

— Рано еще совсем, рано, — бормочет юноша.

— Неравна рана, иная рана бывает с полбарана, — слышит он в ответ и не понимает ни слова. — Вылезай, говорят, прибыли! То-то и оно, что не убыли, а прибытку-то всякий рад.

Юноша окончательно просыпается. Смотрит на балагура. Глаза у юноши — черные, злые, на дне плещет досада. Такой оборвали сон... А вдруг протодьяконский одержал бы верх!

Тройка стоит возле дверей неказистого заведения, сильно вытанутого и деревянного. У склоненного набок крыльца яростно чешется по-весеннему грязный пес, не обращая внимания на новых посетителей. Все уже заходят в трактир.

— Как прикажете величать?

— Николаем, — хмуро цедит молодой человек и добавляет через паузу: — Семенов сын. Пить охота!

— Николай Семенович, — с иронией в голосе повторяет приказчик. — Ну а я Судариков буду, Никита Андреевич, из Нижнего. Ехали долгонько, решили заглянуть в заведение. Не угодно ли будет... Вот и попьете.

Подкрепясь в честной компании «бальзаном» со стерлядью, вновь рассевшись в тарантасе, в разговор затягивают наконец и черноглазого юношу. Николай Семенов сын рассказывает, что служил в Орловской уголовной палате, нынче же едет в Киев, к дяде-профессору, чтобы поступать летом в Киевский университет. Говорит, как пишет, врет — глазом не моргнет и сам себе верит. Русобородый

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
<i>Глава первая. ДОРОЖНЫЕ СНЫ</i>	13
Проводы	13
Старинный город	17
Панин хутор	25
Севск: бурса	33
Глухов—Киев	48
<i>Глава вторая. КИЕВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ</i>	60
Лестница в небо	60
Столоначальник Лесков	71
Призвание	78
Муж	81
Коммерсант	86
Вольный стрелок	99
<i>Глава третья. ЖУРНАЛИСТ</i>	110
У Вернадского	110
В пылу либерализма	118
«Русская речь»	121
«Северная пчела» и третий путь	132
Первые рассказы	136
Лесков и разночинцы	144
Горим!	148
«Пожарная» статья	151
Катастрофа?	159
За границей	167
<i>Глава четвертая. ПОСТОРОННИЙ</i>	171
Париж	171
Ответный удар	177
Адюльтерный роман	185
«С людьми древлего благочестия»	194
«Испытуй и виждь»	204
«Фотографические снимки»	219
Некуда деваться	227
<i>Глава пятая. МАСТЕР</i>	234
Охотник	234
На пути к совершенству	238
Собрать все книги бы... ..	245
Рассказчик	254

На Фурштатской	258
Попытки дружбы	263
Театральный роман	278
Странный случай	282
Крепостничество духовное	285
Сказка о трех богатырях	289
«Дыхание хлада тонка»	300
«На ножах»	305
«Запечатленный» и «Очарованный»	315
<i>Глава шестая. ПРОПОВЕДНИК</i>	323
Драка в Ревеле	323
Друг Церкви	327
Миссионер	335
Еврейский вопрос	341
Реквием	346
Ссора с Катковым	360
В поисках заработка	371
Вторая заграница	376
В Ученом комитете	382
Theodore	387
<i>Глава седьмая. КОСОЙ ЛЕВША</i>	395
«Писателей надо уважать»	395
Коллекционер	400
Разрыв	402
По поводу Достоевского	407
Гибель царя	415
О блохах, англичанах и русском характере	419
Дронушка	439
Художник и власть	443
<i>Глава восьмая. МОЗАИКА И ЧЕЧЕТКА</i>	452
«Сиротка» Варя	452
Праведники	459
Святочные рассказы и легенды	463
Факел и плошка	468
300 тысяч лакеев	480
<i>Глава девятая. ЗАВЕЩАНИЕ</i>	483
Грузочки и яблочко	483
Внук и сын	490
Последняя любовь	495
Содом и Гоморра	503
Прощальная повесть	509
«Посмертная просьба»	512

<i>Глава десятая. НАЧАТКИ И КОНЧАТКИ</i>	519
Прощение и труд	519
Забвение	527
<i>Эпилог</i>	541
Примечания	546
Основные даты жизни и творчества Н. С. Лескова	591
Библиография	607
Указатель имен	608

Кучерская М. А.
К 96 Лесков: Прозёванный гений / Майя Кучерская. —
М.: Молодая гвардия, 2021. — 622[2] с.: ил.

ISBN 978-5-235-04426-5

Прозу Николая Лескова читали все, но знают его по двум-трем текстам. Названный Львом Толстым писателем будущего, самый недооцененный русский классик XIX столетия и человек-скандал прокладывал свой путь в стороне от изхоженных дорог русской словесности и сознательно выламывался из привычных схем, словно нарочно делал всё, чтобы перед ним закрылись двери гостиных и редакций, а его книги не встретились с читателем. С Крестовским он посещал петербургские трущобы, с Чеховым — значные места. Недоучившийся гимназист прошел на государственной службе путь от писмоводителя до члена министерского Ученого комитета, ненавидел и нигилистов, и обер-прокурора Синода Победоносцева. Современники подозревали его в связях с тайной полицией, а советские пролетарии считали своим. Любя всё диковинное и яркое и в жизни, и в литературе, он сконструировал собственный сочный лексикон, работой с языком предвосхитил авангардные эксперименты начала XX века.

Книга Майи Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя — непревзойденного рассказчика, очеркиста, писателя, очарованного странника русской литературы.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

знак информационной
продукции **16+**

Кучерская Майя Александровна
ЛЕСКОВ: ПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ

Редактор **Е. А. Никулина**
Художественные редакторы **А. С. Козаченко, Н. С. Штефан**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 31.08.2020. Подписано в печать 21.09.2020. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л.
32,76+1,68 вкл. Тираж 2000 экз. Заказ

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва,
Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-235-04426-5